



ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

протоиерей
Владимир Аркадьевич Чугунов
Валентин Арсеньевич Николаев
Евгений Петрович Касимов
Владимир Иванович Данчук
Валерий Викторович Сдобняков
Заветное слово (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21975575

Заветное слово (сборник). Рассказы для детей: «Родное пепелище»;

Нижний Новгород; 2014

ISBN 978-5-98948-032-6

Аннотация

Как и в предыдущую книгу («Солнышко всем»), в новый сборник вошли рассказы о детях нескольких поколений, начиная с конца сороковых годов и до наших дней.

Содержание

Валентин Николаев	5
Голубышки	5
Долгая дорога	13
Счастье в метельных дубах	26
Владимир Чугунов	50
Церемонова заверниха	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

**Валентин Николаев,
Владимир Чугунов,
Евгений Касимов,
Валерий Сдобняков,
Владимир Данчук**

Заветное слово (сборник)

Допущено к распространению Издательским Советом
Русской Православной Церкви

© В. А. Николаев – текст

© В. А. Чугунов – текст

© В. В. Сдобников – текст

© Е. П. Касимов – текст

© В. И. Данчук – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка

Валентин Николаев

Голубышки

Наверное, у каждого есть в памяти такое заветное слово, которое носишь с собой всю жизнь, хранишь, как тайный ключик светлого волшебства. Его не трогаешь понапрасну, но в осенние, невыносимо тяжкие дни всплывет оно – и снова ты в той далёкой стране, где всё так чисто и просто и, кажется, само счастье доверчиво разгуливает вблизи, как молодая, ещё не познавшая страха птица.

В ту весну кончал я восьмой класс, последний, и скоро надо было уезжать в город, в десятилетку. А жили мы на берегу озера в маленьком рыбацком посёлке. Был апрель на исходе, погода стояла на редкость тёплая, дождливая, и снегу уже не оставалось даже в лесах.

Как всегда, к вечеру я вышел на берег и замер от удивления: влажная мягкая тишина лежала повсюду, на всей сумеречной земле. Противоположный берег млеял в пепельно-голубом тумане и затопленные дубы там как будто сладко дремали, застыв по колена в воде. Отчётливо донеслось оттуда, как где-то за дубами опустились утки, самих же их не различить уже было... Под горой потрескивал костер, на песке возле него стояли мои одноклассники, глядели в огонь и о

чём-то тихо переговаривались. Искры взвивались над их головами, тонкими золотыми дугами спускались к воде, двоились в ней и гасли. Неожиданно все кинулись от костра, тонко зазвякала лодочная цепь, и уже пошли, покатались во все стороны от лодки волны... А в ней смеялись, вскрикивали, толкались.

– Беги скорей!.. За подснежниками! – увидев меня, замалили все снизу.

Я скатился под гору, едва успел прыгнуть в отходящую лодку.

Плыли мы медленно, испытывая то волнующее чувство, которое охватывает всякого в пору весеннего разлива. С вёсел на воду мягко падали капли, сонно поскрипывала уключина, и гладкая покатая волна беззвучно, маслянисто текла, изгибалась, будто плавилась возле самого борта. За гривами, за перелеском, преодолевая вешнее течение, шлёпал плицами пароход, пряно пахло водой-снежницей, горьковато – тальником и опьяняюще, ново, как пахнет только весной, – свежей смолой лодки. А туман всё сгущался, он уже окружал нашу лодку широким дымным кольцом, посёлка не стало видно. Мга оседала на наши волосы, лица, на скамейки и борта лодки. Однако никто этого не замечал: всем было до того вольно, что, казалось, птицей взлетишь сейчас над широким весенним разливом и будешь парить над ним плавно и долго, замирая от полноты непонятного счастья.

Не зная что делать с собой, мы начали раскачивать лодку.

– Мальчишки! Утонем!.. О-ой!.. – притворно, как взрослые, вскрикивали девчонки, умоляли нас, цепко хватались за скамейки... и смеялись ещё громче. Но мы и так не верили их страху... И всё повторялось сначала.

Когда, не заметили, но величав и грозен вдруг восстал из тумана перед самой лодкой лес. Теперь он казался выше, больше, чем днём, и по-новому таинствен. В лодке стихло, мы плыли под молчаливо нависшей над водой громадой леса, жадно вглядываясь в её жуткую глубину. Иногда по низу подступавших к смоляной воде сосен смутно белели, как затаившиеся зайцы, жалкие остатки снега; оттуда наплывал влажный дух старой отпотевшей хвои, лесной прели, а сквозь это едва уловимо тянуло ещё чем-то кисловато-свежим, тонким. Как знать, может, это и был запах подснежников, мы почему-то не думали, что они не пахнут.



– Приставай! – сдержанно крикнул один из нас, увидев впереди пологий заливчик. И лишь лодка зашипела носом о песчаное дно, все торопливо повыскакивали из неё.

А девчонки опять прикинулись взрослыми, «забоялись лесной глуши» – остались на своих скамейках. От этого мы расхрабрились ещё больше, отчаянно кинулись в сумеречную чащу и долго продирались наугад, пока не очутились на широкой поляне-посадке. Среди ровных погодков-сосенок, склонив к бело-атласным стеблям покорные головы, дремали подснежники, но не все – иные открыто и просто глядели на нас золотыми венчиками-глазами из фиолетовых или голубых лепестков. Их было много, вся посадка, и мы рвали их, рвали, будто воровали у ночи. Когда левая рука уже не обхватывала тугой пучок серебристых стеблей, каждый осторожно клал цветы на блеклую прошлогоднюю траву или на мох и рвал снова... И вот у каждого из нас по голубой охапке сырых тяжёлых подснежников.

– Всё отдадим девчонкам, – сказал кто-то за моей спиной, когда мы, уклоняясь от сосновых лап, бережно несли свои драгоценные ноши к лодке. Ему никто не ответил.

Мои цветы достались нашей общей и тайной избраннице – светловолосой однокласснице с голубыми, совсем взрослыми глазами, из-за которых, наверное, она и казалась нам красивее всех. Как-то само собой получилось, что и в лодке мы уселись с ней рядом, лицом к лицу. Она прижала цветы к

груди, уткнулась в них и, встряхнув мягкими рассыпчатыми волосами, тихо из глубины выдохнула:

– Ах, какие голубышки! – и долго исподлобья глядела на меня. Я готов был выпрыгнуть из лодки. Но мы уже плыли. А она, будто ничего не замечая, выбрала один из подснежников и низом, тайно ото всех, протянула его мне. Я взял холодный стебелек и... засунул его в карман пиджака, всем своим существом стараясь не помять его и казаться безразличным.

Но всё вокруг было новое, голубое! Туман, вода, наши подснежники и её глаза! И страшно и, казалось, уже греховно сейчас, в сумерках, было с ними встречаться. Но как было не встречаться!

Никто теперь не раскачивал лодку. Сидевший на вёслах грёб как-то особенно деликатно, без брызг, и все мы будто враз повзрослели, стали степеннее, умнее. Ещё загадочнее и мельче переливалась под носом лодки вода, звучнее падали с вёсел капли, а за лесом всё вздыхал легко и вольно пароход. Вот он мягко, певуче загудел, осторожно, будто пробуя и боясь потревожить туманную тишину, но всё упруге, гуще и под конец осмелел – несколько раз отрывисто дёрнул. Как большая мягкокрылая птица, таинственно и долго металось по отсыревшим лесам эхо, оно будто заблудилось в плотном тумане, никак не могло выбраться на простор, снова к воде. А мы так и сидели, ошеломлённые этой звучностью, необъятностью лесов. Казалось, и плыть больше некуда, да и неза-

чем: мы были будто бы в центре земли, всей этой необъятно-раздольной жизни и в то же время – дома. С особой, повышенной остротой чуялась окружающая нас на многие вёрсты ночь...

«А ведь скоро уезжать! Последний класс...» – совсем неожиданно вспомнилось мне. Но удивительно, почему-то не шевельнулось в груди сожаления, предчувствия прощальной тоски... Я только умом подумал так, а душа моя помимо воли всё ещё наполнилась этой весенней лёгкостью, туманной далью. Виделись мне на сумеречных полянах голубые семьи подснежников, их дикий и чистый сон, а по разливам – стаи уток, вернувшихся наконец домой из каких-то дальних душно-парных стран. «Вот сейчас они отдыхают по холодным заливам, по затопленным ложбинам лугов... Над ними дремотно склонились ивы, ольхи, черёмухи – всё, всё успокоилось и до рассветного часа не шелохнётся, расслабившись в этой туманной неге. Только пароходы будут всю ночь осторожно пробираться сквозь густые туманные замесы, будут всё монотоннее, глуше шлёпать плицами, будто засыпать на ходу и вскрикивать спросонок – полошить ночь и себя, словно бы желая ещё раз убедиться, наяву ли, не приснилась ли эта величавая звучность земли...»

Теперь и посёлка того нет, и лодки давно те истлели, развеялись в прах. Но сколько раз, мысленно уносясь в тот далёкий вечер, спрашивал я себя: так что же тогда было? Что за чудо заставило нас благоговейно утихнуть и по-иному, шире

взглянуть вокруг и на самих себя? Как назвать это, ведь есть же какое-то слово, кроме того, что запало в моё сознание? Не знаю, возможно, у каждого это слово своё и понимает его каждый по-своему. Может быть. Но в одно я верю всегда: и озеро, и сырой запах бора, прохлада той ночи и согревающая голубизна близких глаз – всё, всё это слилось воедино и осталось каждому из нас навсегда, на всю жизнь, как общее, неразменное счастье. И то широкое раздольное эхо, звучным голубым кольцом опоясавшее ночную землю, в середине которой мы были, – оно будто незримо заключало нас в сладкий плен вместе с озером и лесами, приобщало нас к влажному дыханию той ночи – извечному, всегда согласному дыханию родной земли и неба.

Долгая дорога

Полдня они идут из города, и полдня Мишка только и видит вокруг плавные волны, однообразно убегающие по зреющим серым хлебам. Иногда на солнце, нестерпимо греющее затылок, наплзет белое облако, блуждающее в синеве неба, и тогда широкая прохладная тень медленно, будто вода, начинает затоплять поля.



А они идут и идут вслед этим волнам, оба молчат, потому что давно уж всё переговорено.

Вот и облегчающей вечерней прохладой начинают отдавать зеленые низы ржи, остывает пыль на дороге, а Мишка прихрамывает, спешит за матерью между двух плотных серо-зелёных ржаных стен. Седая дорожная пыль, будто мука, разлетается от шлепков его босых загорелых ног. На большом пальце правой ноги запеклась вишнёвая от крови пыль. Теперь Мишка внимательно глядит под ноги, обходит торчки и камни.

Склонившись, он не замечает, что идёт всё тише, ноги его обдаёт сырым холодом, от неожиданности он озирается и видит себя одного на дне травянистой полевой низины; дорога снова пропадает в высокой ржи, а матери не видно.

Он торопливо кидает на плечо новые ботинки и, припадая на больную ногу, неровной рысью пускается вдогонку. Мать где-то недалеко. Просто идёт она не оглядываясь, хоть шагает и устало с тяжёлой корзинкой на согнутой руке, но быстро.

Пока идут из города, Мишка отставал не однажды, а здесь боится: вдруг будет отворотка во ржи, и он не догадается, куда дальше...

Впереди из-за колосьев выглядывают тёмные крыши домов – значит, полю скоро конец. Но над крышами опять знакомые вершины трёх старых берёз – и сердце у Мишки па-

дает.

Утром, когда торопились в город, здешние мальчишки стали в него, чужого, кидать палками. Разозлясь, схватил Мишка с дороги пыльный камень и запустил его наугад в толпу... Кто-то вскрикнул, а Мишка со всех ног кинулся скорее в рожь.

Долго ещё оглядывался он на эти вершины над крышами. А потом весь день в городе думал, мучился, как пойдёт обратно. Бесконечно долгим показался ему этот необычный жаркий день. Начался он ещё до солнышка, по утренней холодной росе отошли они от своего дома. В город Мишка напросился сам, и мать, к его удивлению, не отказала на этот раз, а, напротив, как будто обрадовалась.

– Пошли, пошли, – сказала она, тщательно пряча под кофту деньги. – Хоть дорогу узнаешь. Не минуешь её...

И Мишка поспешно засобирался: ведь в городе у него отец, Мишка хорошо помнит его, помнит, как он сидел за столом с большими, в чёрных трещинах, руками. Но прежде чем сесть за стол, отец подолгу старательно мыл руки с мылом, а потом резал хлеб, от которого всё равно пахло соляжкой. Этот запах не пропадал в доме никогда: отец работал трактористом.

А теперь он живёт в городе, работает там на машине и домой больше не ездит... Стал Мишка спрашивать как-то мать о нём, но она оборвала его: «Хватит... делай уроки!» И ушла из избы.

Смутно припоминает Мишка, что мать сама отказалась ехать в город с отцом, когда ему не досталось в колхозе машины. Летом отец приезжал на своей машине из города по воскресеньям, но зимой, когда намело дороги, перестал, и теперь все говорят, что он с кем-то там «спутался». Мать не верит, ревёт украдкой. Не верит этому и Мишка...

Отвесно над торговыми рядами висело яркое солнце, когда, пыльные и усталые, явились они на базарную площадь. Везде былолюдно, сухо и жарко. Было много магазинов, и Мишка весь день бегал за матерью, оглядывая прилавки... Со страхом перебегал булыжные улицы перед тряско дребезжащими грузовиками. Заглядывал в кабины, надеясь увидеть отца. Но везде были чужие люди.

Ещё там, на площади, у него уже ломило от усталости ноги, однако он не решался сказать матери «отдохнём»: сам напросился в город.

Насилу дождался обратного пути. И снова шли через весь город. На одном из перекрёстков, глядя в узенькую, с деревянными заборами, улочку, мать остановилась нерешительно:

– Вот здесь он... на этой улице.

– Давай зайдем, – сказал Мишка.

Но мать быстро отвернулась, вскинула голову:

– Не выдумывай! Пошли, пошли... Опоздаем, некогда...

Они миновали последний городской ларёк, возле которого дрожали моторами машины, а шофера в распахнутых ру-

башках пили пиво. Мишка отстал, оглядел шофёров, нет ли отца, и понуро поплёлся следом за матерью. Каменная дорога кончилась, опять началась гладкая, укатанная, в пыли...

Вот и вся побывка.

Снова потянулись сухие безлюдные поля, овражины, перелески...

Приморившись под солнцем, они садились где-нибудь у придорожной канавы, глядели в однообразные сереющие хлеба, блаженно отдыхали. Налетал прохладный ветерок, и по выколосившейся в полную силу ржи убегала к солнечному горизонту переливистая волна. Медленно и плавно кружил, что-то высматривал над краем поля ястреб. И, глядя на него, хотелось сидеть долго-долго.

Но когда спала жара, склонилось к раскалённой картофельной ботве солнце, мать заторопилась, начала подгонять Мишку: «Пошли, пошли... Не отменять бы...»

И вот уже не слепит больше жаркий день, не накаляет плечи и голову, не летают над дорогой с пронзительным писком ласточки...

– Ох, ноженьки! Скоро ли?... – вздыхает мать. – Окаянная дорога. Всю-то жизнь по ней майся!.. Ты ботинки-то не потерял?

– Нет, – отвечает Мишка, радуясь, что устала наконец и мать.

– Гляди. А то в чём в школу пойдёшь? Вот тебе и город! Не захочешь больше...

О ботинках за день Мишка слышал, наверное, раз десять. Ему надоело, и он начинает думать о своём, о том, как завтра с утра побежит на речку купаться. Но... всё ближе деревня под тремя берёзами.

Напряжённно-тиха безлюдная улица. Мишке кажется, что мстители нарочно затаились за углами домов, на огородах и сейчас выскочат. Он со страхом озирается. Но только слабое приглушённое блеяние овец доносится со дворов. Осторожно минуют последний дом и оказываются в низком овсяном поле. Мишка облегчённо вздыхает: здесь уж не заблудишься! Да и всё теперь позади, скоро своя деревня.

Хоть и ночь, но отчётливо виден на краю поля лес. Это уже свой лес. И всё здесь уже своё. Вон и месяц как-то просто, по-свойски, замер над вершинами. В лугах возле речки Вьюнки бродят лошади по брюхо в тумане. Они кажутся Мишке безногими, и ему интересно, как по-утиному, будто в воду, они опускают и поднимают головы. Вот одна из них, вытянув шею и наострив уши, долго, окаменело глядит на дорогу, на двух припозднившихся путников.

Привязался полуночник. Он неожиданно, бесшумно появляется откуда-то сбоку от земли и проносится так близко, что Мишка чувствует, как от воздуха его крыльев шевелятся на голове волосы.

Он воровато оглядывается, но птица, как привидение, уже растаяла в призрачном сумраке поля.

– Мам, а чего он прямо на нас? Не видит?..

– К белому... На твою рубашку, да и у меня платок-то белый...

– Ну и пусть, – громко, как бы с безразличием, говорит он, а сам украдкой поднимает с дороги палку. Полуночник, словно угадав его намерение, больше не показывается.

Подождав ещё немного, Мишка разочарованно кидает палку далеко в овес. Она падает с шелестящим звуком.

– Чего там? – боязливо оборачивается мать.

– Полуночник сел... – лукавит Мишка.

– Дуришь ты...

И снова они идут молча. Только скрипит тяжёлая корзинка: мать все чаще перебрасывает ее с руки на руку.

В корзинке городские покупки: электрический утюг, Мишкины учебники, городецкие пряники.

– Отдохнём, мам. Вон уж наша Вьюнка, теперь всё равно дойдём... – И Мишка поправляет съезжающие с плеча ботинки.

– Потерпи маленько, скоро подойдёт дорога к самому берегу и посидим у воды... Умыться хоть...

Мишка терпит.

Возле Вьюнки наконец они кладут покупки на мягкую траву, забродят через редкую осоку поглубже и с удовольствием не спеша умываются. Потом сидят на крутинке, свесив ноющие босые ноги в прохладную воду.

– И не верится, что дошли, – говорит мать, пошевеливая в воде ногами. – Устал?

– Нет, – бодрится Мишка. – Только палец немножко ноет...

Мать поворачивает к нему голову.

– Ах, окаянный! Как говорила, гляди под ноги. Ну-ко, покажи... Ох, негодник... Так надо хоть подорожника привязать. Иди ищи! – прикрикивает она.

Возле тропинки Мишка разгребает руками холодеющую траву, а мать вытаскивает из корзинки и с треском разрывает белую тряпку.

Холодный сочный лист, хрустя, огибает жаркий палец, и Мишке кажется, что уже легче.

Поев сладких пряников и попив с ладошки, они опять садятся и смотрят на луг за речку. Лошади, видимо, наелись и теперь стоят, подняв головы, словно глубоко задумались, как им выбрести из тумана. Но туман уже надо всем лугом, и где-то в тумане одиноко покеркивает коростель.

– Господи, как хорошо-о... – нараспев говорит мать. – И чего делать в городах? Чего люди бегут?.. Вон ещё темно, а уж того гляди, и утро сейчас займётся. Всё-то спит, только мы с тобой – полуночники...



И впрямь, всё притомилось за долгий жаркий день и теперь отдыхает в прохладе ночи. Один лишь коростель всё спешит, торопится до дневного свету.

«Зря-зря-я...» – без конца отрывисто повторяет он. И наводит на раздумье его загадочный скрип.

Думается Мишке: там, в городе, пришёл с работы отец, режет хлеб, и от хлеба пахнет соляжкой. Знал бы он, что пойдёт нынче его Мишка уже в шестой класс, в новых ботинках, и займёт себе лучшую, пахнущую краской парту! Знал бы, что скоро в деревню будет ходить из города свой автобус... Неуж не знает?

– Вас кто нынче будет учить-то? – неожиданно спрашивает мать.

– Да разные... Мария Петровна, Людмила Сергеевна, Циркуль... Потом еще кто-то приедет... Не знаю.

– А это что за циркуль?..

– Ну, Семен Степаныч, хромой, по математике... его все так зовут.

– Ай-я-яй!.. Что делаете... Чтобы тебе не звать! Гляди!.. А то останешься на всю жизнь в деревне. Вот и будешь, как я... Да ботинки-то поберегай, не трепли. На собаках шерсть бить – обуви не напасёшься.

И она резко поправляет на голове платок.

– А я на шофёра пойду... Буду в город ездить.

– На шофё-ра-а?.. Не выдумывай! В его город не пойдёшь!

Поедешь дальше, в областной, в большой. Не хуже мы его...
Выучу!

Мишка подвигает ботинки поближе, думает: «Чего они ругаются?.. И почему отец, когда уходил, ничего не сказал мне? Ах, отец! Как бы ему сказать, что я тоже хочу быть шофёром, и вместе бы ездили на своих машинах, пили б в жару у ларька квас... А что она понимает? В областной, такую даль...»

– Никуда я не поеду, вот и всё! – вдруг выпаливает он.

– Да ты что?! С ума сошёл, – испуганно оборачивается мать. – Вся-то жизнь в пыли, на полях. Подумай-ко, дурачок, ведь одна грязь...

Она умолкает, глядит куда-то вдаль, потом уже тише добавляет:

– Нет уж, уезжай... останусь. Как-нибудь. И голос её дрожит, концом платка она вытирает глаза.

Мишка не отзывается, не шевелится. На душе у него тревожно и смутно. Он знает, что послушаться матери нельзя, но жаль уезжать от Выюнки, от этих лугов... «И как тут всё останется без меня? – думает он. – Скорее бы вырасти большим, помирить их. Как они не понимают! Зачем ехать? В областной...»

– Зря-зря-я! – по-стариковски покеркивает коростель. И чудится Мишке в его скрипе что-то мудрое, но лукавое.

Сонно плеснула в тёмной осоке рыба. Задрожала и долго качалась возле осочной кочки, где умывались, потревожен-

ная звезда – всё никак не могла успокоиться, остановиться на своём прежнем месте.

Чего-то выжидая, затих неожиданно и луговой наставник. Но как только звезда просияла вновь чистой спокойной зеленью, он опять завёл свой неторопливый, размеренный скрип.

А Мишка всё сидит, спустив одну ногу в воду, другую держит за палец рукой и, будто в последний раз, глядит на спящую Вьюнку, на старые притихшие вербы, подрезанные по низу молодым туманом.

Счастье в метельных дубах

Памяти Юрия Казакова

В том, всё ещё грозном, 1948 году брату Борису наконец исполнилось шестнадцать, и ему купили настоящее охотничье ружьё. Мне к тому времени было одиннадцать. Война закончилась, но есть почему-то хотелось всё больше, и казалось, так будет всегда, всю жизнь.

В военные годы мы уже вдоволь настрелялись из поджигов (кто-то получил раннее увечье), находились строем на уроках военного дела в школе, до одури наигрались в партизан возле сараев дома.

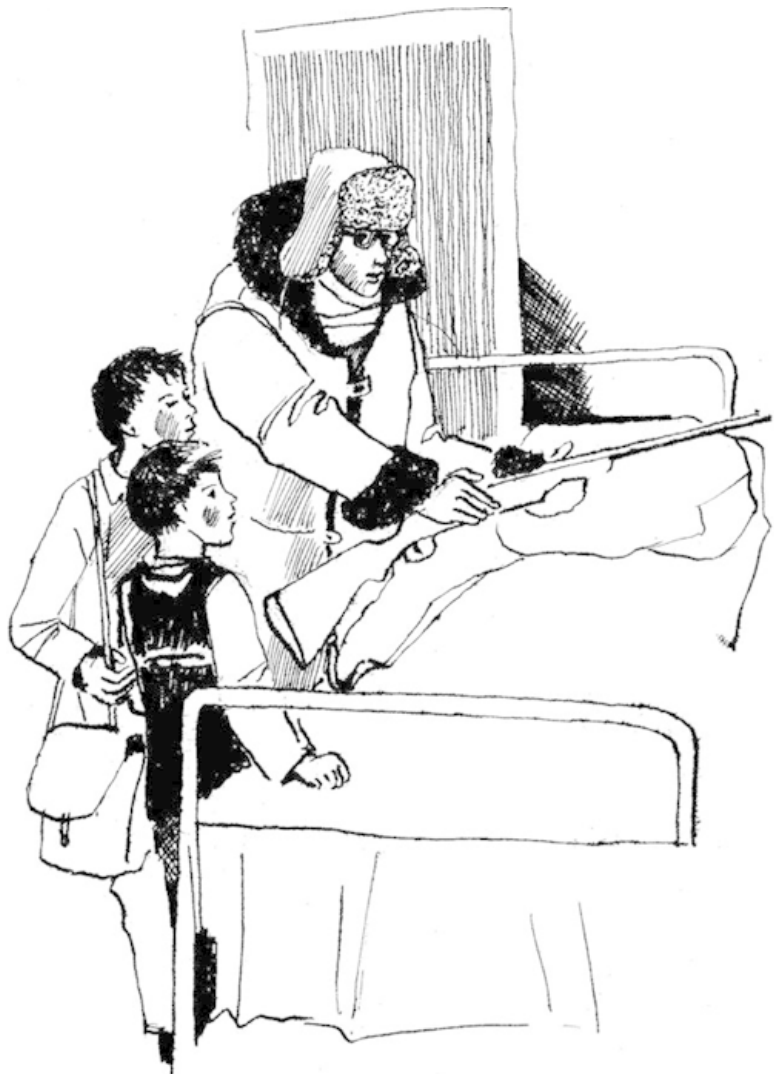
Пора было и нам переходить к мирной жизни: помогать старшим в вязании сетей, жаков, плетении корзин, добывании дичи...

Дичи на озере и вокруг за время войны не только не убавилось, а даже прибыло. Но стрелять было нечем: порох продавали только в городе и только по охотничьим билетам.

Ружьё привезли зимой, почти ночью, на санях из Юрьевца. Отец в огромном тулупе и запотевших очках, держа ружьё обеими руками перед собой как лом, молча пронёс его в избу и положил на кровать. Борис шёл следом, неся на плече полосатую домотканую котомку. В ней вместе с пряниками оказалось десять новеньких латунных гильз, пачка дым-

ного пороху с нарисованным токующим глухарём и тяжёлая коробочка красных пистонов. «1000 штук», – было написано на коробке. Число меня поразило... И всё это диковинно, чудно пахло и сверкало.

Мы всей семьёй разглядывали ружьё, ждали от него новых перемен в жизни и какого-то дополнительного счастья. Особенно радовались мы с Борисом: ружьё было наше, потому как отец по причине крайней близорукости охотиться не собирался. Ему по горло хватало одного рыбацкого промысла. Радовало и то, что охота не облагалась налогом, была вольной, свободной добычей. В отличие от рыбацкого промысла (а колхоз у нас назывался «Красный рыбак») в охоте не было планов, соцобязательств, она не запрещалась сельсоветом, не осуждалась родителями. Один только наказ был дан нам от отца и матери: «Не застрелите друг друга». Только это мы и помнили. Весну и лето мы учились стрелять. Из-за грив, волнуясь и затаив дыхание почти до обморока, подползали к чиркам. (Другие утки от нас улетали издали, и мы не могли понять почему.) Два чирка и были нашей первой добычей... А вскоре мы уже потеряли к ним интерес.



Главной нашей мечтой теперь были осенние тетерева. Мы не раз наблюдали издали, как дед Фёдор, единственный промысловый охотник на всю деревню, ловко снимал их с высокой сосны в Клоковском поле. Из дальнего перелеска нам было хорошо видно, как тетерева будто по струне летели из-за реки на эту сосну, присаживались, затихали, потом раздавался выстрел, и тетерев рушился с вершины вниз. Это казалось нам легко и просто, что мы только об этом и мечтали. Особенно нам нравилось как «сидели» у Фёдора на соседних с сосной берёзах черные чучела: они были толстые, будто разжиревшие и «восседали» как-то прочно, независимо. И казалось, к ним невозможно было не подсесть.

Надо сказать, что охотился так Фёдор и осенью, и весной, без разницы. Хотя на поле перед сосной вёснами гремел ток. Но Фёдор стоически своего шалаша не оставлял. И охотился по-прежнему добычливо. Говорили, что он колдун и заговорил эту сосну. Мы побаивались его, завидовали и мечтали о такой сосне и охоте.

Но прежде всего нам нужны были чучела. Мы обшарили весь дом, слазили на чердак, перевернули всё в чулане в поисках чёрной материи... Наконец на сеновале, на крюке, где вешали мочало, обнаружили дореволюционный покойной бабушки сак. Одежка эта (не то пиджак, не то полупальто) выгорела, была покрыта сенной трухой. Борис снял её с крюка, спустился с сеновала на двор, раза три хлестнул ею по

овечьему хлеву: овцы шарахнулись в угол, а сак поновел. Но всё равно был сероват и кое-где с рыжеватыми подпалинами.

– Выстирать надо, в озере... – сказал я Борису.

– Подожди, – загадочно отозвался он, сходил в избу и принёс ножницы. Мы подрезали подкладку – сукно с изнанки было черно, как сажа.

– Вот! Перелицуем...

– А отдадут? – засомневался я.

– Бабушка бы отдала... – сокрушённо вздохнул Борис.

Бабушку похоронили в самый разгар войны, и мы оба пожалели её ещё раз.

Однако сак нам отдали без больших разговоров. Помучившись дня три с выкройками, чучела мы наконец сшили и набили их омяльем.

К осенним перелётам мы успевали. Ещё не замерзло озеро, и мы выплывали в лодке «прижимать» последних уток. Борис затаивался на берегу, а я «придурал» посреди озера в лодке: потихоньку греб то вперёд, потом назад, будто полумный, и утки-чернушки вынуждены были на всякий случай жаться к берегу. Тут и пыхало из кустов облаком голубого дыма, а через секунду долетал до меня долгожданный выстрел. Я подбирал, что было поражено, а если был подранок, то опять «жал» к берегу...

Фёдор уже охотился на своих тетеревов, а нам было рано. Так говорил Борис. Дело в том, что шалаш у нас был построен недалеко от озера у старых дубов. Место это Борис под-

глядел сам, когда охотился на уток. Три одиноких старых дуба видны были с любой точки озера. И Борис решил, что тут и есть тетеревиный перелёт – воздушная дорога из заречных зарослей в наши поля. Он даже видел, как два тетерева пролетали над этими дубами. Поэтому сразу же и заложил тут остов будущего шалаша. Дополнительно срубил три осинки на сошки – подчучельники. Об этом он мне рассказал сразу же, как я пришёл из школы. Сам он в школу уже не ходил, заверив, что доучится потом, а пока будет работать, помогать отцу.

Наохотившись на воде, приставали к берегу и шли к своим дубам достраивать шалаш. Мы крыли его сосновыми лапами, притаскивая их издалека.

Наконец всё было готово, но Борис медлил. Только тут он понял, что совершил просчёт: берёзы и осины уже облетели, дубы же стояли в лохмотьях пожухлых листьев. А мы уже знали, что на необлетевшее дерево тетерев садится неохотно: то ли шум листвы его пугает, то ли почки для кормёжки ещё не вызрели. Тут мы снова вспомнили Фёдора и его сосну в окружении берёз.

Надо было ждать. И мы ждали.

Я ходил в школу и попутно присматривался ко всем дубам. А Борис по-прежнему доохочивался на холодеющем озере на уток.

– Когда пойдем? – приставал я к нему.

– Вот мороз ударит – и всё разом облетит. – Подождём

маленько, – успокаивал он меня и себя.

И я ждал. Уже облетели все берёзы, затвердели дороги. Наконец замёрзло озеро.

– Когда пойдём? – опять спрашивал я его.

– В воскресенье... Пусть лёд поокрепнет.

А по льду уже катались на коньках, бегали, играли...

Правда, ещё рискованно.

– В воскресенье тебе не идти в школу, – продолжал Борис. – Посидим в шалаше подольше.

Оставались две ночи и день. Мороз забирал все круче, и это радовало меня, я выходил на озеро, топал на льду. «Пусть поокрепнет», – повторял Борисовы слова и шёл домой. Меня окликали, оставляли играть. Но я отмалчивался: намеченную охоту мы держали втайне.

Звонок будильника поднял нас в три часа ночи. Борис ощупью слез с печи, засветил керосиновую лампу, и при её неполном свете мы стали одеваться. Наши штаны, ватные фуфайки, были здесь же, на печи (мы на них спали). Они были до того горячие, что обжигали. Однако мы, сопя, надевали их и тут же подпоясывались ремнями, чтобы сохранить тепло на всё утро. Подшитые валенки, шапки, варежки – всё это было тоже приготовлено с вечера, то есть, брошено в угол печи к борову.

На улице было темно и тихо. Я взял связанные верёвочками чучела, перекинул их через плечо наперевес. Борис понёс ружье. Мы осторожно спустились с пригорка на лёд и дви-

нули на изголовье острова: оттуда ближе всего было до наших дубов. Лёд был потный, валенки наши почти не скользили, и настроение наше портилось. Мы понимали, что морозу на заре не быть, а значит, считай, пропала наша охота. Потому что без мороза они не летят...

Борис загадочно молчал, а я травил и себя, и его:

– Сейчас ещё дождь пойдёт... Пропало утро. Фёдор уже неделю охотится. А мы... прождали свои дубы.

– Смотри в лунку не залети, – мрачно оборвал Борис. – А то домой пойдёшь.

– А глубоко тут?

– Хватит тебе, метра три будет.

– И чучела вымочу...

Борис знал, что на изголовьи ставят жаки и под них прорубают треугольные проруби. Он шёл сзади, и я понял, что бережёт ружьё. «Да и меня вытаскивать будет некому».

Мы с большой осторожностью миновали изголовье и вскоре благополучно достигли нужного берега в зарослях ольхи. Здесь, у берега, лёд переходил в кочкарник, старую осоку с ключами, и промерзало тут плохо. Поэтому в темноте надо было не провалиться, не замочить валенки, иначе в шалаше без движения замёрзнешь. Выломав сушину в зарослях ольхи, Борис пошёл первым, а я за ним. Мы выбрались на твёрдый берег и стали подниматься на взгорок. Там, отдельно от ольховой путаницы, высились наши дубы. Они царствовали тут над озером и над всей округой.

Даже в сумерках на бледнеющем небе угадывалось, что средний был чист, а боковые ещё тряпочно лохматились кое-где клочьями чёрной листвы.



Справа от дубов разбежался младенческий соснячок – мутовочник, постепенно переходящий в смешанный подлесок. А слева, через поляну, мрачно чернел сосновый бор. Место мне было знакомо по грибным и ягодным сборам, но пригодность его к охоте была для меня открытием и одновременно тайной.

Светало слабо, развиднело всего чуток: ночь как будто и не пошевелилась. Это-то и радовало нас: до свету надо было поднять на вершины чучела. Дело для обоих новое и торжественное – как подъём флага перед началом охоты.

Но сначала нам надо было «пообвалить» шалаш, как сказал Борис. Срубленные им заранее лапы лежали в молодом сосняке справа. Я таскал, а Борис кидал их на верх шалаша, значит, «обваливал».

– Смотри на вершину не наступи – хрупнет, – указал Борис на тонкую жердь-сошку, через которую я таскал лапник.

Одна сошка была составной, связанной из двух тонких жердей. Насадив на вершинку лучшее чучело и привязав его под брюхом к сошке, мы начали поднимать эту двойную жердину. Она была тяжелее, чучело на ней зыбалось, и нас водило из стороны в сторону будто пьяных...

Наконец чучело было в вершине дуба. По приказу я отбежал на сторону поглядеть, прямо ли сидит.

– Откуда ветер? – спросил Борис.

– Не пойму откуда, – запыхавшись, ответил я. – Вчера ду-

ло с востока, из-за реки, как из школы шли.

Покрутив сошку, Борис повернул чучело «рылом» к реке. Оно стало живее, и это нам обоим понравилось.

Два других чучела выставить было легче. Одно мы при-слонили сбоку этого же дуба, а третье воздвигли над берёзой; она была ниже дубов и уже хорошо облетела. Средний, чистый, дуб мы оставили для «гостей».

Утро не торопило нас, светало как-то нехотя. Поэтому мы отошли в сторону, оглядели чучела: сидели они ловко, один только «клюнул», прислонённый к дубу. Борис покрутил его на сошке, подвигал её по-разному: теперь он сидел почти вертикально, клювом вверх.

– Ладно, – махнул рукой Борис, – они всяко сидят. Пора залезать...

Оглядевшись на все стороны, мы нырнули в сумрак шалаша. Пахло тут свежей сосной и ёлкой. Весь «пол» шалаша был устлан хвойной мелочью будто сеном. Подстилка эта слегка пружинила, создавала какой-то уют, и я понял, что Борис тайно бывал в шалаше у Фёдора и перенял у него эту хитрость... и в душе я поблагодарил их обоих.

Мы затихли и стали ждать. Мы блаженствовали, лёжа на лапнике, потому что устали и вспотели, пока возились с чучелами. Теперь всё было позади, теперь надо было только слушать и ждать. И мы ждали в полной тишине, уткнувшись в воротники ватных одежонок. Накоротке мы даже вздремнули, добирая ночной сон. Я проснулся от легкого холода. И

за это время там, «на улице», что-то сдвинулось: там была уже не ночь, а начало утра. Посветлели окошечки в стенах шалаша, и даже «на полу» шалаша стало светлее.

Сквозь бойницы и в шалашную редь я огляделся: за нашими дубами простиралась равнина – запущенная пашня, некое, – а на ней стояла одинокая лохматая сосна. Слева от поляны чернел сосновый бор. Справа от шалаша приземистый соснячок переходил в молодой берёзовый подрост, перемежаясь с осинником, уходил к реке.

Мы ещё посидели.

Однако никакого рассвета не наступало, и я понял, что даже восхода солнца мы не увидим. А на восходе-то они как раз и летят!

И я как-то затосковал, свернулся опять калачиком и привалился к стенке шалаша. А Борис стоял на коленях и неотрывно наблюдал за вершинами дубов. И я понял, что он любит чучелами.

Где-то на поляне, всего скорее на косматой сосне, протяжно проорала ворона. «Пропало утро, пропало, – думал я неотрывно с обидой в душе, – кроме этой вороны, ни одной птицы на всю округу...»

Я уже опять задремывал, когда почудился мне какой-то отдаленный вкрадчиво-мелкий шорох справа в березняке. Он то замирал, то оживал снова, будто проснулся там гигантский муравейник. Я затаил дыхание, как зверь, напрягся всем своим существом: шевелилось всё ближе, уже подкра-

дывалось к шалашу...

Это был дождь. Мелкий, перемежистый сеянец.

– Гнилое утро, – сдался наконец и Борис, – надо идти домой.

Он достал кисет с махоркой, откашлялся без опаски и стал, как отец, закуривать, шебурша газетой.

– Ты что, посидим... – напугался я с обидой, боясь, что он и вправду сейчас пойдет снимать чучела. – Время-то сколь?

Он достал из-за пазухи, где был потайной карман, старинные отцовы часы на медной витой цепочке и с римскими цифрами на циферблате. Щёлкнул крышкой:

– Двадцать минут, как взошло солнце. Вишь, дождь – охлобучило со всех сторон.

– Вымочит, давай здесь подождём, – пошёл я на хитрость.

Мы решили сидеть ещё полчаса (точно по часам, как уговорились). Ворона с сосны молча улетела в лес, над сосной, сливаясь и разрываясь, текли тучи. Я глядел в хвойное окошечко и думал: «Почему дождь пришел справа, если тучи вылезли из бора слева и ползли низко над поляной за реку?»

Наш ближний предлесок справа тревожно пошумливал. Иногда он как бы вздрагивал, шум усиливался, а потом стихал вовсе.

Борис вздохнул. С шалаша уже капало за ворот, мы ёжились, возились. Борис постоянно стирал капли со ствола (на всякий случай, чтобы не заслоняло мушку). И я понял, что в душе он ещё на что-то надеется. Я мёрз и мысленно молил-

ся Богу. Я тоже надеялся, но мне уже всё больше хотелось наружу, шалаш стал казаться добровольным мокрым заточением...

Мы сидели последние минуты, и в это время справа услышали какой-то гул в мелколесье. Он приближался. Мы замерли. Гул этот налетел на нас тугим ветром, могучие дубы разом погнулись вершинами в одну сторону, полетели листья, одно чучело избочилось. Другое, напротив, – выправилось и стало похоже на настоящего тетерева.

Вместе с ветром над шалашом прошёл сплошной крупный дождь и побежал по поляне к сосне. И сосны не стало видно в серо-темной пряже дождя. Оторвавшись от окошечек в шалаше, мы переглянулись и ждали новых чудес. Мы стояли в шалаше во весь рост и уже не боялись, что кто-то нас заметит. Низкое и мрачно-плотное, как телогрейка, небо над поляной лопнуло, и оттуда рванулось солнце – золотая полоса живого света. Она прошла через всю поляну, осветила и позолотила сосну и убежала за дождём в бор.

Какое-то время было тихо, а потом начало темнеть. В лесу справа опять послышался гул и, когда он дошёл до нас, в дубах разом зашумело: с новой силой начался дождь, сплошной, упрямый.

Теперь уже мы окончательно поняли, что зарядил он на весь день, и ждать нам больше нечего.

Мы понуро молчали и, как пленники, избывали время в своем шалаше. Опустились на прежние места, обоим не хо-

телось вылезать наружу под дождь, снимать чучела и мокрыми плестись домой. Мы уже как бы прижились в своём шалаше. Хоть немного, но он все-таки защищал нас и от дождя, и от ветра.

Борис, устав стоять на коленях, тоже лёг, привалился к стенке шалаша, он медленно курил со слабой улыбкой, как бы осуждающей все наши надежды и это редкостно неудачное утро.

Больше мы ничего не ждали, на нас напало безразличие. Наверно, мы оба думали об одном: как мать встретит нас дома, как будет ругать за вымоченную одежду, которую негде развешивать для просушки.

Надо сказать, что пустая охота у матери вызывала тягостное молчание, а то и взрыв негодования: «Сидели бы дома, только обувь зря треплете...» Но принесённой дичине она радовалась искренне, платок у нее сбивался на сторону, рассматривала цветные перья, крылья, дивилась: «И создаст же Бог такую красоту!.. Вот хорошо, что встали, а то проспали бы такое утро...»

Сегодняшнему утру она наверняка уже не радовалась и ничего не ждала от нас.

Над бором тревожно проорала ворона, а справа могучим порывом рванул ветер. Он прошумел в наших дубах, но мы не шевельнулись: чучела нас больше не интересовали. «Со всем бы их уронило на землю, – подумал я. – Легче собирать...»

Но свалило не чучело, а одну большую лапу с верхушки нашего шалаша, и мы глядели в полуоткрытое небо. В шалаше стало неуютно, продувисто. Теперь ветер не только не стихал, а усиливался, нёс над поляной водяную морось дождя, и в ней изредка мелькали какие-то большие белые капли. Не сразу догадался я, что это снег. Через минуту он летел уже мимо шалаша и дубов хлопьями. Ветер завыл, как в трубе, с удвоенной силой, и началась настоящая пурга. Она металась будто в феврале, чучела наши спереди враз побелели и стали похожи на пингвинов, а не на тетеревов. Теперь они могли только отпугнуть даже ворону. И дубы, и сошки – всё было с ветровой стороны белое, а с другой – тёмное, мокрое. В шалаше сверху задувало ветром и снегом, и Борис не вытерпел, полез наружу набросить эту упавшую лапу на верх шалаша.

Он отодвинул можжевелину, закрывавшую лаз, полез... и тут же резко с испугом закатился назад в шалаш. А я испугался дважды, потому что в это же самое время с новым, непонятным мне шумом накрыла шалаш какая-то небесная тень. В шалаше как будто потемнело. Мы замерли и услышали в вершинах дубов плеск и хлопки многих крыльев. Осторожно поводя глазами и чуть-чуть головой, я увидел, что все дубы и даже низкие березы облепила могучая стая тетеревов. Меня будто во сне сковал какой-то мистический страх, а Борис уже медленно, плавно подымал ружье. Делал это он так долго, тягостно, что у меня от волнения разрывалось сердце,

и я даже хотел, чтобы они сорвались, лишь бы прервать это ожидание.

Борис целился сидя, и я понял, что он боится встать на колени, чтобы тетерева не увидели нас в полуоткрытый верх шалаша. Неудобно ему было, неловко, целился он со страдальческой гримасой на лице, зажмурил левый глаз. Я не дышал...

Наконец выстрел резко хлестнул, как-то коротко, слабо, будто пастушья плеть в ненастье, и я был разочарован: я ждал победного, почти пушечного грома. Не шевелясь, я глянул на Бориса, спрашивая глазами: «Убил? Бежать?!»

Но он, светясь радостью, осторожно приложил к губам палец и стал перезаряжать ружье. Я перевел дух.

Так же тихо и плавно он, сидя, приложился; я, чтобы не сглазить, зажмурил глаза и молился Богу. И не зря: после выстрела отчетливо слышалось, как тетерев грузно ботнулся о землю. Я опять глянул на Бориса, а он уже повелительно прижал палец к губам. Без опаски открыл ружье, привычно, будто старый артиллерист, кинул вонючую гильзу мне под нос и, привстав на колени, уже свободно, выцеливал следующего. «Обнаглел, – подумалось мне. – Почему они не улетают?..» После выстрела я ничего не видел через пургу и дым, но обострённым слухом уловил шорох в ветвях. Сбитый тетерев долго с перьевым шуршанием падал по сучьям... Но звука падения я не услышал.

Перезарядка повторилась. Теперь Борис прицелился

быстро, ахнул куда-то в метель ещё раз, и стоя с плескучим поспешным хлопанием крыльев шумно снялась в сторону поляны.

Я вскочил и припал к окошечку: о, сколько их было!.. Улетая, они, как чёрная туча, неслись сквозь белую пургу. Они закрыли собой сосну на поляне. Часть из них села на эту сосну, а потом сорвалась и кинулась вдогонку всей стае... Скоро они растаяли над сосновым бором: и лес, и их задернула белая пелена вьюги.

Я ждал, что скажет Борис, но спросил первым:

– Сколько штук убил?

– Четверых... одного вроде ранил.

– Бежим собирать!

– Подожди, может, вернется, – и Борис стал оглядывать все деревья вокруг шалаша.

– Всё. Улетели, – подытожил он. Зарядил ружье, и мы кинулись из шалаша.



Три тетерева точно валялись под дубами. Держа их за ла-

пы, мы ходили по снегу вокруг дубов кругами, искали четвёртого, всё дальше уходя от стволов.

Мы нашли его уже на поляне. Он чернел как головешка в снегу: видимо, ворошился, и снег не успел его покрыть.

Не веря своему счастью, мы опять кинулись к шалашу, Борис попутно забросил на верх шалаша упавшую лапу, и мы нырнули вовнутрь.

Метель вокруг так мела, что всё было как в сказке. Я грел руки в белых подкрыльях тетеревов; перекладывал этих грузных птиц, раздвигал веером загнутые хвосты, трогал и нюхал алые брови. Ах, как они пахли! Какая дикая дивность была в каждом перышке, лапке... Даже не верилось, что всё это родится и водится в наших бедных полях, лесах. Я готов был теперь сидеть хоть весь день. Но Борис закурил ещё раз, подумал-подумал, достал часы и сказал.

– Пошли завтракать, больше не прилетят.

Мы бегом валили чучела, направляли их против ветра, чтобы не так тяжело было сдерживать сошки. Потом вершинки сошек вывесили, положили на кусты, чтобы не вмерзли в снег. Всё делали по-хозяйски, как Федор. Мы знали, что охотиться в этом шалаше теперь нам долго. Собирая чучела, носились бегом и от холода и от радости. И чучела, и тетеревов разделили надвое, связали верёвочками и, перекинув через плечо, спустились на озеро. Выстукивая зубами, бежали по белому озеру рысью. Пурга мела нам в спину, загибала роскошные хвосты тетеревов мне прямо к носу, и я, как

зверь, вдыхал запах дикого вольного пера. Мы боялись, чтобы кто не встретил нас на льду, а то увидит, удивится, перебьёт наше место под дубами. Но кто мог встретиться в такую калегу, как говорила мать?

Всё озеро было белым-бело. Мы оглядывались на дубы (не сидят ли снова!) и видели, как сзади на белом поле озера чернели две одинаковые цепочки следов – под нашими валенками проступала вода. Ноги у нас давно уже были мокрыми, а мы будто на крыльях летели к своему дому. На ходу строили новые планы, говорили, что в мороз стая вернётся, а может, и не одна...

В понедельник я опять пошёл в школу за три километра. Во вторник всё растаяло, а в ночь заморозило снова, уже без снега. Лёд на озере опять был гладким, но только мутным и толстым.

На неделе Борис ходил на охоту один и в оттепель, и в мороз. Потом, в субботу, я сидел с ним в шалаше прямо со школьной сумкой, пропустил два первых урока и ушёл совсем без радости, хотя идти до школы было от шалаша ближе.

В воскресенье мы снова почти с ночи были у своих дубов. Но будто всё вымерло...

А место на дубах действительно было привольное. Бывало, мы специально спускались на озеро, издали любовались чучелами.

– Как живые, – говорил Борис.

– Не отличишь! – соглашался я. Особенно мне нравились их хвосты, которые пришили мы от первых добытых нами тетеревов.

Всё реже и реже Борис ходил в этот шалаш до самой настоящей зимы. Но они так и не прилетели.

А почему? Я не могу этого объяснить. Охота, вообще, дело необъяснимое. Для меня до сих пор остаётся загадкой: почему они прилетели? Что их гнало, куда? И в такую непогодь, и такой тучей!..

Всю зиму мы собирались спросить об этом Фёдора, он наверняка знал. Но стеснялись как-то да и боялись. Так и не решились.

А летом Фёдор умер.

Хоронили его хорошим июльским днём. Я беспечно шёл улицей, ослеплённый полуденным солнцем, и оказался «первой встречей» покойному. Когда мне передавали хлеб, который несли впереди процессии на полотенце, кто-то сказал из провожавших: «Охотником будет...»

Я не поверил своему счастью.

Но так оно всё и вышло.

И я не каюсь. Много разных охот и погод испытал я за жизнь. Но до сих пор, когда подымается первая осенняя выюга, всё во мне замирает. Я жду какого-то счастья, выхожу на балкон, мёрзну, ловлю холодный ветер, по-собачьи внюхиваюсь в него... И мне чудится тот редкий удивительный запах, запах предзимнего тетеревиного пуха, слаще которого

нет ничего в мире.

Владимир Чугунов

Церемонова заверниха

Церемонова заверниха – самая маленькая улица в нашем Городце. На улице три деревянных дома, окна которых день-деньской смотрят на Церемоново болото. Вкруг болота растут плакучие ивы, на ветвях по утрам сидят с удочками рыбаки, ловят карасей, плотву, иногда попадаются криволапые лягушки. У берега, на мели, кишмя кишат головастики.

На Церемоновой завернихе живёт моя бабушка. Поскольку родители постоянно в разъездах, практически всё время я провожу у бабушки. С утра до ночи со своими ровесниками я, по словам бабушки, «незнамо где» пропадаю, но как только занепогодит, и особенно в длинные зимние вечера, бабушка, усадив меня за стол, наливает кружку топлёного молока, отрезает ломоть сладкого пирога с черникой, малиной или смородиной и рассказывает какую-нибудь интересную историю.

История первая

А всё началось вот с чего.

Когда был насажен Рай на востоке, сотворил Господь Бог Адама из того же, что и все звери, праха земного, только с обликом человеческим. Собственным дыханием оживил его. И таким он сделался умненьким, таким хорошеньким, что вся тварь поднебесная стала охотно служить ему.

И всё бы ничего, да не с кем было Адаму слово молвить. Со зверями да птицами много ли наговоришь?

И тогда навёл Господь Бог на Адама крепкий сон, вынул из груди его ребро, обложил плотью, дунул – и получилась писаная красавица! Адам даже ахнул, когда проснулся, от удивления. А поскольку в Раю ни зимы, ни осени нет, круглый год лето, ходили они нагишом. И жили бы себе да жили, а от них такие же справные и послушные люди пошли, кабы не погубил их змей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.